

*Георгий Чистяков
Анна Шмаина-Великанова*

**ОБРЕТАЯ НАДЕЖДУ ДРУЗЕЙ ИОВА
О книге Инны Войцкой**

Богословие мирян: религиозная интерпретация русской литературы

Книга называется «Дерево и царство». Она начинается обещанием: «В дереве нам обещано дерево, но в нем нам обещано и царство». Нам обещают показать дерево как царство, что означает показать культуру как цветение веры. И это обещание выполнено. Небольшая книга никому не известного автора грандиозна по масштабу духовного обихода. Автор не подчеркивает этого масштаба, но и не скрывает его. По-видимому, разговор о литературе, философии и богословии ведется здесь на уровне смысла, который представляется автору самым естественным. «Что же это такое – смысл? Размышление над этим уведет нас вдаль от образов «Горной оды», но, возможно, приобщит к пониманию сути вещей». Вот о чем здесь говорится. Нас никто не пытается уверить, что речь идет об изящных пустяках. Нет, о сути вещей. И, заметим, кстати, это нисколько не уводит от «Горной оды».

По-видимому, чтобы понять это довольно-таки уникальное явление, надо отнестись со всей серьезностью к подзаголовку книги: «О поэтике богословия». Итак, это прежде всего богословская работа. Хотя можно привести множество примеров филигранного литературоведческого анализа. Вот, наугад, рассуждение о том, в чем состоит комический эффект союза «и» в словосочетании «в ежемесячном и прогрессивном журнале», и тут же указание на религиозное значение юмора как стилистического приема в «Бесах» Достоевского. Или десяток других: анализ нарочитой невыразительности упоминания церковных служб Достоевским, анализ понятия «неприличия» у Толстого, анализ рифмовки восьмистишия Седаковой... И все-таки книга Войцкой – не литературоведческое исследование, и не критика, хотя в ней рассыпано множество метких критических замечаний, и не философская работа, хотя ее прочтение 21 параграфа из «Первоначал философии» Декарта, включающее в себя сопоставление с оригинальным текстом блаж. Августина («О граде Божиим», 11, 26), сделало бы честь любой специальной философской монографии. Это даже не работа по истории богословия, хотя ее небольшое (на полстраницы) примечание о постижении Истины в «Исповеди» блаж. Августина и у ап. Павла представляет собой, по существу, блестящее историко-богословское исследование. Перед нами оригинальный богословский труд – богословие Инны Войцкой. А богословие неизбежно – разговор о больших вещах. Могут существовать незначительные научные или философские вопросы, но неважных богословских тем нет и таким образом, глядя на культуру как богослов, Инна Войцкая видит ее преувеличенно, то есть во весь рост.

В этой книге предпринята попытка цельной богословской интерпретации русской литературы XIX и XX вв. В ней, по существу, дан ответ на вопрос, в чем смысл понятия «христианская культура». Для русской культуры традиционно и естественно, что вопрошание о христианстве облечено в форму разговора о Толстом и Достоевском или о русской поэзии. Так поступали русские религиозные мыслители начала XX в., так поступали и великие русские писатели, например, Пастернак: «Юра подумал, что никакой статьи о Блоке не нужно, а надо написать русское Рождество». И все-таки даже на этом фоне книга Войцкой существенно нова.

В первой части, «О мистическом опыте Достоевского. XIX век», о вере говорится наиболее прямо, недвусмысленно. Автор анализирует либо эпизоды, сильно выходящие за рамки обыденного, имеющие явно мистический подтекст, как, например, эпилог «Идиота», о котором сказано: «Опыт веры <...>, как конечное безумие Мышкина обеспечивает, держит на себе все остальные события романа», либо эпизоды, просто

связанные с церковными событиями и обрядами. Таков весь анализ «Бесов». Глава «У Тихона» с подытоживающей ремаркой: «Еще бы ему Тихона не любить. Это мир, увиденный в тринитарном образе»; проезд в церковь Марьи Тимофеевны (Хромоножки), трактуемый как архиерейский вход и одновременно как указание на крестный путь Варвары Петровны; и, в особенности, развернутое прочтение предсмертных дней Степана Трофимовича как участия в литургии со всеми необходимыми этапами – исповедью, антифонами, Апостолом, Евангелием, ектеньей об оглашенных, примирением в начале евхаристического канона, чтением Символа веры и причащением.

Вторая часть книги, о русском романе XIX в., открывается обезоруживающей по смелости фразой: «Как хорош зрелый русский роман! И не только Толстой и Достоевский – хороши и Тургенев, и Лесков, и Аксаков, и Гончаров подчас очень хорош. А как прекрасен Чехов, уже на излете жанра, почти за его пределами, перенесший в рассказ и драму благоухание русской классической прозы». Она посвящена не религиозным переживаниям героев или исключительно церковным эпизодам их жизни, но более сложной интерпретации самого романного действия, его вещной пристальности, временной последовательности и сюжетной определенности как развертыванию события Церкви. Войцкая показывает, что церковная исповедь Левина в «Анне Карениной» в отличие от горячечных исповедей героев Достоевского друг другу, фиктивна, Кити и Левина соединяет в целое не обряд, а передача Левиным ей дневника, его подлинной исповеди, таким образом его пишущее творческое начало оказывается тождественным брачующемуся и благодатно освящается. Об «Идиоте» она говорит просто, что там есть указание на раскрытие сущности брака как Церкви. И с легкостью доказывает это, вскрыв огромное значение малозаметной детали – пребывания князя в алтаре перед началом его несостоявшегося венчания. При выходе из алтаря князь единственный раз назван женихом, и в этот момент полностью являет себя читателю как Христос – Жених церковный.

Эта часть книги завершается удивительной догадкой о различии между прозой XIX и XX вв.: та, старая, имела сюжет, конец сюжета и эпилог, потому что в старом романе существовала затекстовая смыслопорождающая доминанта сюжета. Смысл не рождался в каждый миг существования, он был больше этого мига, поскольку располагался в необезбоженном мире, в мире, сотворенном Богом. В прозе XX в. «единственной реальностью оказывается само действие смыслопорождения», его сквозной миг составляет практически любой макросюжет и поэтому невозможен роман с эпилогом. Герои как бы гибнут и возрождаются в каждый момент и потому лишены и настоящей законченной жизни, и полноценной смерти. Позволим себе заметить на полях этого глубокого рассуждения, что роман в прозе «Доктор Живаго» является и опровержением и подтверждением такого взгляда на сюжет в XX в. С одной стороны, в нем дана торжественная и полная, как Голгофа, смерть героя, и просветленный, почти не прописанный эпилог, с другой стороны, скорее всего, именно эти обстоятельства сделали пастернаковский роман чужим и внеположным всей современной ему литературной парадигме.

Если обе первые части книги при всей их богословской неожиданности все-таки посвящены столь известному и обсуждаемому явлению, как великий русский роман XIX в., то третья, самая большая, обращена к поэзии XX в., причем к такой, о которой до сих пор почти не писали – к творчеству Ольги Седаковой, и таким образом, нова во всех отношениях. Поэтому, наверно, интересно было бы рассмотреть все примеры глубокого литературоведческого анализа «Старых песен», «Тристана и Изольды», «Горной оды» и других стихов и циклов Седаковой, произведенного Инной Войцкой, но, к сожалению, это невозможно сделать в кратком вступительном слове.

Итак, мы вынуждены ограничиться только богословским аспектом этого анализа. Инна Войцкая определяет поэзию Ольги Седаковой как христианскую. Что входит в это определение? Прежде всего, «лирика по своей природе субъективна <...>, в христианстве

субъект существует для того, чтобы отказаться от своей субъективности <...> и лирика уничтожает психологический облик». Итак, христианская лирика – это лирика отказа от себя. Кроме того, это «ученая поэзия» в том смысле, в котором прежде было ученое монашество. И ко всему тому – это молящаяся поэзия, шепот и лепет. «Современная лирика, – заключает Войцкая, – дала такой феномен, как ученый юродивый лепет». Это о форме. А о содержании сказано, что это «поэзия выбора чуда как нравственного долга», – вот это христианская поэзия.

Она противостоит тому, что подспудно звучит в прозе XX в., голосу отчаяния, по слову Войцкой, неизвестного отцам-пустынникам. Это отчаяние не в собственном спасении, а в бытии Бога. «Человек <...> хоть однажды пораженный им, ежемгновенно <...> сохраняет восприятие бытия, в котором силой бесовского морока явственно нет Бога». Христианская лирика Седаковой даже такому человеку дает возможность пережить реальность Преображения.

Суть стихов Седаковой оказывается, по Войцкой, сутью евангельской вести, ведь смысл этой вести «есть осуществление любви». Поэтому от размышления над этими стихами она переходит к евангельским отрывкам: о бесплодной смоковнице, о воскрешении Лазаря, особенно поражает нас ее размышление над притчей о богаче и Лазаре, которое возникает внутри толкования стихотворения Седаковой «Уверение». Войцкая задается вопросом, почему в Евангелии ничего не сказано о душевных свойствах Лазаря, хотя оговорено, что он «отнесен был ангелами на лоно Авраамово» (Лк. 16:22), и приходит к выводу, на наш взгляд, глубочайшему, о том, что у него не может и не должно быть качеств, потому что ситуация предельного страдания – положения Лазаря или Иова – и есть «состояние раскачествления <...>, история исчезновения свойств, утраты качеств, история вытесняемого, вытесненного человека», Кажется, дальше этого определения человеку заглянуть трудно, но Инна Войцкая идет дальше, она заставляет нас понять, что *переживает* человек, лишенный качеств, превратившийся просто в носителя абсолютной лишенности, телесной муки: «Боль открывает нам себя как то, чего человек не может пожелать для себя <...>, это чистая область нежелаемого. Симона Вейль хотела быть слепой, глухой, немой и парализованной <...>, но это желание жертвенности, а не страдания самого по себе. Страдание – это то, что находится вне сферы человеческого желания. Чего бы не хотел человек, сопряженного с страданием, самого страдания он искать не может». И вдруг оказывается: «страдание раскрывает себя здесь как единственный бесспорный удел божественного на земле». Но от этого не легче. Страдание делает человека совершенно изолированным, он становится предметом глумления (настолько он чужд окружающим), он превращается в *крик*. Но и это еще не главное. Самое важное, что «область страдания – область неузнаваемого», поскольку «разрушены все естественные границы и связи. Деградация венчает обесчеловечивание». Кажется, что нам позволили окунуться в самую бездну человеческого страдания, но Инна Войцкая одновременно и разрушает эту иллюзию, и дает читателю надежду, она указывает нам наше место, место друзей Иова: «Человеку не дано по своей воле стать ни Иовом, ни Лазарем, но он может подойти к чужому мучению очень близко. Путь Друзей Иова: присутствие и сострадание, утешение, не достигающее цели, и увещание, недоумение, скорбь и гнев. Все для того, чтобы в самом конце достичь цели своего пути: слышать обращенный к ним голос Бога и обрести вину. Обретение вины и есть, наверное, главная человеческая возможность в присутствии чужого невыносимого мучения <...> Иов, также как и Лазарь, возможный источник спасения для приблизившихся к его существованию вплотную».

Читая эти завершающие абзацы книги «Дерево и царство», мы чувствуем, что здесь слово Инны Войцкой, не переставая быть тонким анализом стихов и глубокой богословской работой, становится нестерпимо прямым, оно обращается к нам, оно заставляет нас задуматься о себе, об этой стране, о русском языке, о нашей культуре.

На этой земле недолго, но интенсивно, плодотворно, жил человек, который мог бы

составить ее славу, который так любил эту культуру, что писал о ней на пороге смерти и с таким восторгом, с такой любовью писал: «Так что – она не страшна, та, настоящая смерть? Страшна! О! Как страшна! Ведь: «... уже ничего – ни стыда, ни суда, / ни милости даже: оттуда сюда / мы вынесли все и вошли <...>» Вот как хорошо! Как прекрасно сказано! Мы идем туда, где исток всего, что есть хорошего у нас: стыда, суда, милости».

Мы не можем ничего сказать о личности, жизни, судьбе Инны Войцкой – это должны сделать другие, кто знал ее долго и близко. Одно можно сказать с уверенностью: мы, ее современники, ее не заметили. Как писала она по поводу постыдных нападков на Ольгу Седакову в русской печати: «Абсолютный демократизм высокой культуры сродни абсолютному демократизму веры: как реальность Евангелия она открывает себя всем, и в этом ее сила и беззащитность. Что же, можно ведь все это уничтожить. Мы ведь не Япония. Тысячи храмов были, и, возможно, будут еще сожжены. <...> Впрочем, какие силы будут сохранять человека, уничтожившего то единственное, что он еще мог бы любить?»

И подлинно, не Япония! В другой стране, у бусурман, она была бы не меньше как Ханной Арендт, а у нас не сподобилась стать младшим научным сотрудником в академическом институте или преподавателем в вузе. Не заметить – это ведь значит оттолкнуть и убить. Как писал когда-то Андрей Битов: «Какое это сытое, хамское, самодовольное вранье, что талант всегда найдет дорогу». Инна Войцкая умерла тридцати семи лет отроду и оставила нам эту книгу. Много это или мало? Постараемся внимательно прочесть то, что от нее осталось.

«Там человек сгорел».

Москва. 27 ноября 2002